

A black and white portrait of Leonid Brezhnev, a man with a mustache and glasses, looking directly at the camera. The portrait is the background of the book cover.

ЛЕВ
ТРОЦКИЙ

Моя жизнь

АЗБУКА-КЛАССИКА
NON-FICTION

Азбука-классика. Non-Fiction

Лев Троцкий

Моя жизнь

«Азбука»

1929–1930

УДК 32
ББК 66.1(2)6

Троцкий Л. Д.

Моя жизнь / Л. Д. Троцкий — «Азбука», 1929–1930 — (Азбука-классика. Non-Fiction)

ISBN 978-5-389-29130-0

Лев Троцкий – одна из самых ярких, загадочных, противоречивых и влиятельных фигур в политической истории России, личность которого породила множество мифов. При Сталине Троцкому выпала роль врага революции, с которым велась непримиримая борьба; ему приписывались всевозможные преступления – террор, шпионаж, предательство Родины. В послесталинское время из авангарда контрреволюционных сил Троцкий переместился в «обоз реакции», а в перестройку обратился в «демона» революции и представителя «мировой закулисы». В последующие годы интерес к Троцкому не угас, а его образ заиграл новыми красками. Он стал олицетворением разрушительных сил, что, на радость врагам, хотят ввергнуть Россию в пучину хаоса. Какое отношение имеет это к реальному Троцкому? Ответ на этот вопрос читатель, возможно, найдет в книге «Моя жизнь», автобиографии Льва Троцкого, который был не только ключевой фигурой Октябрьской революции 1917 года и главным противником Сталина в политической борьбе, но также блестящим писателем и оригинальным мыслителем. Книга была написана в 1929–1930 гг., после высылки Троцкого из Советского Союза, имела огромный успех у читателей во всем мире и мгновенно стала бестселлером, однако на родине автора мемуары были изданы впервые лишь в 1991 году.

УДК 32
ББК 66.1(2)6

ISBN 978-5-389-29130-0

© Троцкий Л. Д., 1929–1930

© Азбука, 1929–1930

Содержание

Предисловие	8
Глава I	13
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Лев Троцкий Моя жизнь

© Оформление ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2025
Издательство Азбука®

* * *

АЗБУКА-КЛАССИКА

NON-FICTION

**ЛЕВ
ТРОЦКИЙ**

Моя жизнь



АЗБУКА

Санкт-Петербург

Предисловие

Наше время снова обильно мемуарами, может быть, более, чем когда-либо. Это потому, что есть о чем рассказывать. Интерес к текущей истории тем напряженнее, чем драматичнее эпоха, чем богаче она поворотами. Искусство пейзажа не могло бы родиться в Сахаре. «Пересеченные» эпохи, как наша, порождают потребность взглянуть на вчерашний и уже столь далекий день глазами его активных участников. В этом – объяснение огромного развития мемуарной литературы со времени последней войны. Может быть, в этом же можно найти оправдание и для настоящей книги.

Сама возможность появления ее в свет создана паузой в активной политической деятельности автора. Одним из непредвиденных, хотя и не случайных этапов моей жизни оказался Константинополь. Здесь я нахожусь на бивуаке – не в первый раз, терпеливо дожидаясь, что будет дальше. Без некоторой доли «фатализма» жизнь революционера была бы вообще невозможна. Так или иначе, константинопольский антракт явился как нельзя более подходящим моментом, чтобы оглянуться назад, прежде чем обстоятельства позволят двинуться вперед.

Первоначально я написал беглые автобиографические очерки для газет и думал этим ограничиться. Отмечу тут же, что я не имел возможности следить из своего убежища за тем, в каком виде эти очерки дошли до читателя. Но каждая работа имеет свою логику. Я вошел в свою тему лишь к тому моменту, когда заканчивал газетные статьи. Тогда я решил написать книгу. Я взял другой, несравненно более широкий масштаб и произвел всю работу заново. Между первоначальными газетными статьями и этой книгой общим является только то, что они говорят об одном и том же предмете. В остальном это два разных произведения.

С особенной обстоятельностью я остановился на втором периоде советской революции, начало которого совпадает с болезнью Ленина и открытием кампании против «троцкизма». Борьба эпигонов за власть, как я пытаюсь показать, была не только личной борьбой. Она выражала собою новую политическую главу: реакцию против Октября и подготовку термидора. Из этого сам собою вытекает ответ на вопрос, который так часто задавали мне: «Как вы потеряли власть?»

Автобиография революционного политика затрагивает по необходимости целый ряд теоретических вопросов, связанных с общественным развитием России, отчасти и всего человечества, в особенности же с теми критическими периодами, которые называются революциями. Разумеется, я не имел возможности рассматривать на этих страницах сложные теоретические проблемы по существу. В частности, так называемая теория перманентной революции, которая играла в моей личной жизни такую большую роль и которая, что важнее, приобретает теперь столь острую актуальность для стран Востока, проходит через эту книгу как отдаленный лейтмотив. Если это не удовлетворит читателя, то я могу лишь сказать ему, что рассмотрение проблем революции по существу составит содержание особой книги, в которой я попытаюсь подвести важнейшие теоретические итоги опыта последних десятилетий.

Так как на страницах моей книги проходит немалое количество лиц не всегда в том освещении, которое они сами выбрали бы для себя или для своей партии, то многие из них найдут мое изложение лишенным необходимой объективности. Уже появление отрывков в периодической печати вызвало кое-какие опровержения. Это неизбежно. Можно не сомневаться, что, если б мне удалось даже сделать автобиографию простым дагеротипом моей жизни, к чему я вовсе не стремился, – она все равно вызвала бы отголоски тех прений, которые порождались в свое время излагаемыми в ней коллизиями. Но эта книга не бесстрастная фотография моей жизни, а ее составная часть. На этих страницах я продолжаю ту борьбу, которой посвящена вся моя жизнь. Излагая, я характеризую и оцениваю; рассказывая, я защищаюсь и еще чаще –

нападаю. Мне думается, что это единственный способ сделать биографию объективной в некотором более высоком смысле, т. е. сделать ее наиболее адекватным выражением лица, условий и эпохи.

Объективность – не в притворном безразличии, с каким хорошо отстоявшееся лицемерие говорит о друзьях и врагах, внушая читателю косвенно то, что неудобно сказать ему прямо. Такого рода объективность есть лишь светская ловушка, не более того. Мне она не нужна. Раз уж я подчинился необходимости говорить о себе – никому еще не удавалось написать автобиографию, не говоря о себе, – то у меня не может быть оснований скрывать свои симпатии и антипатии, свою любовь и свою ненависть.

Эта книга полемична. Она отражает динамику той общественной жизни, которая вся построена на противоречиях. Дерзости школьника учителю; прикрытые любезностью салонные шпильки зависти; непрерывная конкуренция торговли; остервенелое соревнование на всех поприщах техники, науки, искусства, спорта; парламентские стычки, в которых пульсирует глубокая противоположность интересов; повседневная неистовая борьба печати; стачки рабочих; расстрелы демонстрантов; пироксилиновые чемоданы, посылаемые по воздуху цивилизованными соседями друг другу; пламенные языки гражданской войны, почти не потухающие на нашей планете, – все это разные формы социальной «poleмики», от обыденной, повседневной, нормальной, почти незаметной, несмотря на свою напряженность, – до чрезвычайной, взрывчатой, вулканической poleмики войн и революций. Такова наша эпоха. С ней вместе мы выросли. Ею мы дышим и живем. Как же мы можем не быть полемичны, если хотим быть верны нашему отечеству во времени?

Но есть другой, более элементарный критерий, который касается простой добросовестности в изложении фактов. Как самая непримиримая революционная борьба должна считаться с обстоятельствами места и времени, так и наиболее полемическое произведение должно соблюдать те пропорции, которые существуют между вещами и людьми. Хочу надеяться, что это требование мною соблюдено не только в целом, но и в частях.

В некоторых, немногочисленных, правда, случаях я излагаю беседы в форме диалога. Никто не станет требовать дословного воспроизведения бесед много лет спустя. Я на это и не претендую. Некоторые диалоги имеют скорее символический характер. Но у всякого человека в жизни были моменты, когда тот или другой разговор особенно ярко врезывался в его память. Такие беседы обыкновенно пересказываешь не раз своим близким и политическим друзьям. Благодаря этому они закрепляются в памяти. Я имею в виду, разумеется, прежде всего беседы политического характера.

Хочу отметить здесь, что я привык доверять своей памяти. Показания ее не раз подвергались объективной проверке и с успехом выдерживали ее. Здесь необходима, впрочем, оговорка. Если моя топографическая память, не говоря уж о музыкальной, очень слаба, а зрительная, как и лингвистическая, довольно посредственна, то идейная память значительно выше среднего уровня. Между тем в этой книге идеи, их развитие и борьба людей из-за этих идей занимают, в сущности, главное место.

Правда, память не автоматический счетчик. Она меньше всего бескорыстна. Нередко она выталкивает из себя или отодвигает в темный угол такие эпизоды, какие невыгодны контролирующему ее жизненному инстинкту, чаще всего под углом зрения самолюбия. Но это уж дело «психоаналитической» критики, которая иногда бывает остроумна и поучительна, но еще чаще – капризна и произвольна.

Незачем говорить, что я настойчиво контролировал свою память через посредство документальных свидетельств. Как ни затруднены были для меня условия работы, в смысле библиотечных и архивных справок, я имел все же возможность проверить все наиболее существенные обстоятельства и даты, в которых нуждался.

Начиная с 1897 г. я вел борьбу преимущественно с пером в руках. Таким образом, события моей жизни оставили почти непрерывный печатный след на протяжении 32 лет. Фракционная борьба в партии, начиная с 1903 г., была обильна личными эпизодами. Мои противники, как и я, не щадили ударов. Все они оставили печатные рубцы. Со времени октябрьского переворота история революционного движения заняла большое место в исследованиях молодых советских ученых и целых учреждений. Разыскивается в архивах революции и царского департамента полиции все, что представляет интерес, и издается с обстоятельными фактическими комментариями. В первые годы, когда еще не было нужды что-либо скрывать или маскировать, эта работа производилась с полной добросовестностью. «Сочинения» Ленина и часть моих выпущены государственным издательством с примечаниями, занимающими десятки страниц в каждом томе и заключающими незаменимый фактический материал как о деятельности авторов, так и о событиях соответственного периода.

Все это, естественно, облегчало мою работу, помогая установить правильную хронологическую канву и избежать фактических ошибок, по крайней мере грубых.

Я не могу отрицать того, что моя жизнь протекала не совсем обычным порядком. Причины этого надо, однако, искать больше в условиях эпохи, чем лично во мне. Разумеется, нужны были также и известные личные черты, чтобы выполнять ту, хорошую или дурную, работу, которую я выполнял. Но при других исторических условиях эти личные особенности могли бы мирно дремать, как дремлет бесчисленное количество человеческих склонностей и страстей, на которые общественная обстановка не предъявляет спроса. Зато могли бы, может быть, проявиться другие качества, которые оттеснены или подавлены ныне. Над субъективным возвышается объективное, и оно в последнем счете решает.

Моя сознательная и активная деятельность, начавшаяся примерно с 17–18-летнего возраста, протекала в постоянной борьбе за определенные идеи. В моей личной жизни не было никаких событий, которые сами по себе заслуживали бы общественного внимания. Все сколько-нибудь из ряда выходящие факты моего прошлого связаны с революционной борьбой и от нее получают свое значение. Только это обстоятельство и может оправдать появление в свет моей автобиографии.

Но из этого же источника вытекают и затруднения для автора. Факты личной жизни оказались настолько тесно вплетены в ткань исторических событий, что трудно отделить одно от другого. Между тем эта книга все же не исторический труд. События взяты не по их объективной значимости, а в зависимости от того, как они были связаны с фактами личной жизни. Немудрено, если в характеристике отдельных событий и целых этапов нет той пропорциональности, которой должно было бы требовать, если бы книга представляла собою исторический труд. Водораздел между автобиографией и историей революции приходилось нащупывать эмпирически. Не растворяя жизнеописания в историческом исследовании, необходимо, однако, было дать читателю опору в фактах общественного развития. Я исходил при этом из того, что основные контуры больших событий известны читателю и что его память нуждается только в кратких напоминаниях об исторических фактах и об их последовательности.

К моменту выхода в свет этой книги мне исполнится 50 лет. День моего рождения совпадает с днем Октябрьской революции. Мистики и пифагорейцы могут из этого делать какие угодно выводы. Сам я заметил это курьезное совпадение только через три года после октябрьского переворота. До 9 лет я жил безвыездно в глухой деревне. Восемь лет учился в средней школе. Арестован был в первый раз через год после окончания ее. Университетами служили для меня, как и для многих моих сверстников, тюрьма, ссылка, эмиграция. В царских тюрьмах я сидел в два приема около четырех лет. В царской ссылке провел первый раз около двух лет, второй раз – несколько недель. Дважды бежал из Сибири. В эмиграции прожил в два приема

около 12 лет в разных странах Европы и Америки, два года до революции 1905 г. и почти десять лет после ее разгрома. Во время войны был заочно приговорен к тюремному заключению в гогенцоллернской Германии (1915 г.); был в следующем году выслан из Франции в Испанию, где после короткого заключения в мадридской тюрьме и месячного пребывания под надзором полиции в Кадиксе был выслан в Америку. Там меня застигла Февральская революция. По дороге из Нью-Йорка я был в марте 1917 г. арестован англичанами и содержался месяц в концентрационном лагере в Канаде. Я участвовал в революциях 1905 и 1917 гг., был председателем Петербургского Совета депутатов в 1905 г., затем в 1917 г. Я принимал близкое участие в октябрьском перевороте и был членом советского правительства. В качестве народного комиссара по иностранным делам вел мирные переговоры в Брест-Литовске с делегациями Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии. В качестве народного комиссара по военным и морским делам я посвятил около пяти лет организации Красной Армии и восстановлению Красного Флота. В течение 1920 г. я соединял с этим руководство расстроеной железнодорожной сетью.

Главное содержание моей жизни – за вычетом годов Гражданской войны – составляла, однако, партийная и писательская деятельность. Государственное издательство приступило в 1923 г. к изданию собрания моих сочинений. Оно успело выпустить тринадцать книг, не считая вышедших ранее пяти томов военных работ. Издание было приостановлено в 1927 г., когда гонения против «троцкизма» стали особенно ожесточенными.

В январе 1928 г. я был отправлен нынешним советским правительством в ссылку, провел год на границе Китая, был в феврале 1929 г. выслан в Турцию, пишу эти строки в Константинополе.

Даже в этом конспективном изложении внешнее течение моей жизни никак нельзя назвать монотонным. Наоборот, по числу поворотов, неожиданностей, острых конфликтов, подъемов и спусков можно сказать, что жизнь моя скорее изобиловала «приключениями». Между тем позволю себе сказать, что по склонности я не имею ничего общего с искателями приключений. Я скорее педантичен и консервативен в своих привычках. Я люблю и ценю дисциплину и систему. Совсем не ради парадокса, а потому, что так оно и есть, я должен сказать, что не выношу беспорядка и разрушения. Я был всегда очень прилежным и аккуратным школьником. Эти два качества я сохранил и в дальнейшей жизни. В годы Гражданской войны, когда я в своем поезде покрыл расстояние, равное нескольким экваторам, я радовался каждому новому забору из свежих сосновых досок. Ленин, знавший об этом моем пристрастии, не раз дружески подтрунивал над ним. Хорошо написанная книга, в которой можно найти новые мысли, и хорошее перо, при помощи которого можно сообщить собственные мысли другим, всегда были для меня – остаются и сейчас – самыми ценными и близкими плодами культуры. Стремление учиться никогда не покидало меня, и у меня много раз в жизни бывало такое чувство, что революция мешает мне работать систематически. Тем не менее почти треть столетия моей сознательной жизни целиком заполнена революционной борьбой, и если б мне пришлось начинать сначала, я не задумываясь пошел бы по тому же пути.

Мне приходится писать эти строки в эмиграции, третьей по счету, в то время как ближайšie мои друзья заполняют места ссылки и тюрьмы Советской республики, в создании которой они принимали решающее участие. Некоторые из них колеблются, отходят, склоняются перед противником. Одни потому, что морально израсходовались; другие потому, что не находят самостоятельно выхода из лабиринта обстоятельств; третьи – под гнетом материальных репрессий. Я два раза уже пережил такие массовые отходы от знамени: после крушения революции 1905 г. и в начале мировой войны. Я достаточно близко знаю, таким образом, из жизненного опыта, что такое исторические приливы и отливы. Они подчинены своей закономерности. Голым нетерпением не ускоришь их смены. Историческую перспективу я привык рассматривать не под углом зрения личной судьбы. Познать закономерность совершающегося и найти в

этой закономерности свое место – такова первая обязанность революционера. И таково вместе с тем высшее личное удовлетворение, доступное человеку, который не растворяет своих задач в сегодняшнем дне.

*Принкипо, 14 сентября 1929 г.
Л. Троцкий*

Глава I Яновка

Детство слывет самой счастливой порой жизни. Всегда ли так? Нет, счастливо детство немногих. Идеализация детства ведет свою родословную от старой литературы привилегированных. Обеспеченное, избыточное, безоблачное детство в наследственно богатых и просвещенных семьях, среди ласк и игр оставалось в памяти, как залитая солнцем поляна в начале жизненного пути. Вельможи в литературе или плебеи, воспевавшие вельмож, канонизировали эту насквозь аристократическую оценку детства. Подавляющее большинство людей, поскольку оно вообще оглядывается назад, видит, наоборот, темное, голодное, зависимое детство. Жизнь бьет по слабым, а кто же слабее детей?

Мое детство не было детством голода и холода. Ко времени моего рождения родительская семья уже знала достаток. Но это был суровый достаток людей, поднимающихся из нужды вверх и не желающих останавливаться на полдороге. Все мускулы были напряжены, все помыслы направлены на труд и накопление. В этом обиходе детям доставалось скромное место. Мы не знали нужды, но мы не знали и щедростей жизни, ее ласк. Мое детство не представляется мне ни солнечной поляной, как у маленького меньшинства, ни мрачной пещерой голода, насилий и обид, как детство многих, как детство большинства. Это было сероватое детство в мелкобуржуазной семье, в деревне, в глухом углу, где природа широка, а нравы, взгляды, интересы скудны и узки.

Духовная атмосфера, окружавшая мои ранние годы, и та, в которой прошла моя дальнейшая сознательная жизнь, – это два разных мира, отделенные друг от друга не только десятилетиями и странами, но и горными хребтами великих событий, и менее заметными, но для отдельного человека не менее значительными внутренними обвалами. При первом наброске этих воспоминаний мне не раз казалось, будто я описываю не свое детство, а старое путешествие по далекой стране. Я пытался даже вести рассказ о себе в третьем лице. Но эта условная форма слишком легко сбивается на беллетристику, т. е. на то, чего я прежде всего хотел бы избежать.

Несмотря на противоречие двух миров, единство личности переходит какими-то подспудными путями из одного в другой. Этим и объясняется, вообще говоря, интерес к биографиям и автобиографиям людей, которые по той или иной причине заняли несколько более пространное место в жизни общества. Я попробую поэтому с некоторой подробностью рассказать о своем детстве и своих школьных годах, ничего не предугадывая и не предрешая, т. е. не нанизывая факты на предвзятые обобщения, – просто так, как это было и как сохранила прошлое моя память.

Иногда мне казалось, что я помню, как сосал грудь матери. Надо думать, однако, что я просто перенес на себя то, что видел на младших детях. У меня были смутные воспоминания о какой-то сцене под яблоней в саду, которая разыгралась, когда мне было года полтора. Но это воспоминание недостоверно. Наиболее твердо осталось в памяти такое происшествие: я с матерью в Бобринце, в семье Ц., где есть девочка двух или трех лет. Меня называют женихом, девочку – невестой. Дети играют в зале на крашеном полу, потом девочка исчезает, а маленький мальчик стоит один у комода, он переживает момент остолбенения, как во сне. Входит мать с хозяйкой. Мать смотрит на мальчика, потом на лужицу возле него, потом опять на мальчика, качает укоризненно головой и говорит: «Как тебе не стыдно»... Мальчик смотрит на мать, на себя и затем на лужицу, как на нечто ему совершенно постороннее. «Ничего, ничего, – говорит хозяйка, – дети заигрались».

Маленький мальчик не испытывает ни стыда, ни раскаяния. Сколько ему тогда было? Должно быть, два года, но, может быть, и три.

Около того же времени я наткнулся на гадюку, гуляя с няней в саду. «Гляди, Лева, – сказала няня, показывая что-то блестящее в траве, – табачница зарыта в земле». Няня взяла палочку и стала раскапывать. Самой няне вряд ли было больше шестнадцати лет. Табачница развернулась, вытянулась в змею и с шипением поползла по траве. «Ай! ай!» – вскричала няня и, схватив меня за руку, быстро побежала прочь. Мне было трудно переставлять быстро ноги. Захлебываясь, я рассказывал потом, как мы думали, что нашли в траве табачницу, а оказалась гадюка.

Вспоминается еще ранняя сцена на «белой» кухне. Ни отца, ни матери дома нет. В кухне, кроме прислуги и кухарки, их гости. Старший брат, Александр, приехавший на каникулы, вертится тут же. Он становится обеими ногами на деревянную лопату, как на ходули, и долго пляшет на ней по земляному полу кухни. Я прошу брата уступить мне лопату, делаю попытку взобраться на нее, падаю и плачу. Брат поднимает меня, целует и на руках уносит из кухни.

Мне, должно быть, было уже года четыре, когда кто-то посадил меня на большую серую кобылу, смирную, как овца, без седла и без уздечки, только с веревочным недоуздом. Широко раскорячив ноги, я обеими руками держался за гриву. Кобыла тихо подвезла меня к грушевому дереву и прошла под веткой, которая пришлась мне по животу. Не понимая, что это значит, я съезжал по крупу вниз, пока не шлепнулся в траву. Больно не было, но было непостижимо.

Покупных игрушек я в детстве почти не имел. Раз только из Харькова мать привезла мне бумажную лошадку и мяч. С младшей сестрой я играл в самодельные куклы. Однажды тетя Феня и тетя Раиса, сестры отца, сделали нам несколько кукол из тряпочек, и тетя Феня навела карандашом глаза, рот и нос. Куклы казались необыкновенными, я помню их и сейчас. В один из зимних вечеров Иван Васильевич, наш машинист, вырезал и склеил из картона вагон с окнами и на колесах. Старший брат, приехавший на Рождество, сразу заявил, что сделать такой вагон можно в два счета. Он начал с того, что расклеил мой вагон, вооружился линейкой, карандашом и ножницами, долго чертил, а когда по чертежу отрезал, то вагон у него не сошелся.

Отъезжавшие в город родственники и знакомые не раз спрашивали меня: чего тебе привезти из Елизаветграда или Николаева? У меня разгорались глаза. Чего бы попросить? Мне приходили на помощь. Кто предлагал лошадку, кто книжки, кто цветные карандаши, а кто коньки. «Коньки „полугалифакс“», – говорю я, так как слышал это название от брата. Те, что обещали, забывали о своем обещании, едва переступив порог. А я несколько недель жил надеждой, а потом долго томился разочарованием.

В палисаднике на подсолнух села пчела. Так как пчелы кусаются и нужна осторожность, то я срываю лист *лопуха* и через этот лист схватываю пчелу *двумя пальцами*. Меня пронизывает неожиданная и невыносимая боль. С воплем я бегу через двор в мастерскую, к Ивану Васильевичу. Он вынимает жало и смазывает палец спасительной жидкостью.

У Ивана Васильевича была банка, в которой тарантулы плавали в подсолнечном масле. Считалось, что это самое надежное средство от укусов. Тарантулов я ловил вместе с Витей Гертопановым. Для этой цели на нитке укреплялся кусочек воска и спускался в норку. Тарантул вцепляется в воск всеми лапами и влипает. Дальше остается только захватить его в пустую спичечную коробку. Впрочем, охота на тарантулов относится, должно быть, к более позднему времени.

Вспоминаю разговор старших, за долгим зимним вечерним чаем, о том, как и когда купили Яновку, сколько кому из детей было тогда лет и когда на службу поступил Иван Васильевич. Мать говорит: «А Леву перевезли с хутора уже готовенького» – и посматривает лукаво на меня. Я умозаключаю про себя, а затем говорю вслух: «Значит, я родился на хуторе?..» – «Нет, – говорят мне, – ты родился уже здесь, в Яновке». – «А как же мама говорит, что меня

привезли готовеньким?..» – «Это мама так себе сказала, пошутила»... Я не удовлетворен и размышляю, что это странная шутка, но умолкаю, потому что на лицах старших вижу ту особую улыбку посвященных, которой очень не люблю. Из этих воспоминаний за зимним чаем, когда никто никуда не спешит, вытекает хронология. Родился я в октябре, 26-го. Стало быть, в Яновку родители мои переехали с хутора весной или летом 1879 г.

Год моего рождения был годом первых динамитных ударов по царизму. Незадолго перед тем возникшая террористическая партия «Народная воля» вынесла 26 августа 1879 г. – за два месяца до моего появления на свет – смертный приговор Александру II. 19 ноября уже произведено было динамитное покушение на царский поезд. Начиналась грозная борьба, которая привела 1 марта 1881 г. к убийству Александра II, но в то же время и к гибели самой «Народной воли».

За год перед тем закончилась Русско-турецкая война. В августе 1879 г. Бисмарк заложил основания австро-германского союза. Золя выпустил в этом году роман, где будущий организатор Антанты, тогдашний принц Уэльский, выведен в качестве тонкого ценителя опереточных певиц («Нана»). Ветер реакции, усилившийся в европейской политике со времени Франко-прусской войны и разгрома Парижской коммуны, еще не ослабевал. В Германии социал-демократия уже подпала под исключительные законы Бисмарка. Виктор Гюго и Луи Блан в 1879 г. внесли во Французскую палату требование амнистии коммунарам.

Но ни парламентские дебаты, ни дипломатические акты, ни даже динамитные взрывы не доносили своих отголосков до деревни Яновки, в которой я увидел свет и провел первые девять лет своей жизни. На необъятных степях Херсонской губернии и всей Новороссии жило особыми законами царство пшеницы и овец. Оно было прочно ограждено от вторжения политики своими пространствами и отсутствием дорог. Многочисленные степные курганы остались здесь как вехи Великого переселения народов.

Отец мой был земледельцем, сперва мелким, затем более крупным. Мальчиком он покинул со своей семьей еврейское местечко в Полтавской губернии, чтоб искать счастья на вольных степях юга. В Херсонской и Екатеринославской губерниях имелось в те годы около сорока еврейских земледельческих колоний с населением около 25 000 душ. Еврей-земледельцы были уравнены с крестьянами не только в правах (до 1881 г.), но и в бедности. Неумолимым, жестоким, беспощадным к себе и к другим трудом первоначального накопления отец мой поднимался вверх.

Метрическая книга велась в колонии Громоклей не очень исправно. Много записывалось задним числом. Когда понадобилось мне поступить в среднее учебное заведение и оказалось, что я не вышел еще годами для первого класса, то в метриках перенесли мое рождение с 1879-го на 1878 год. Поэтому годам моим велся всегда двойной счет: официальный и семейный.

Первые девять лет своей жизни я почти не высовывал носа из отцовской деревни. Звалась она Яновкою – по имени помещика Яновского, у которого была куплена земля. Старик Яновский вышел в полковники из рядовых, попал к начальству в милость при Александре II и получил на выбор 500 десятин в еще не заселенных степях Херсонской губернии. Он построил в степи землянку, крытую соломой, и такие же незамысловатые надворные строения. С хозяйством у него, однако, не пошло. После смерти полковника семья его поселилась в Полтаве. Отец купил у Яновского свыше 100 десятин да десятин 200 держал в аренде. Полковницу, сухонькую старушку, помню твердо: она приезжала не то раз, не то дважды в год получать арендную плату за землю и поглядеть, все ли на месте. За ней посылали лошадей на вокзал и к подъезду выносили стул, чтобы легче было ей сойти с рессорного фургона. Фаэтон у отца появился лишь позже, когда завелись и выездные жеребцы. Старушке-полковнице варили бульон из курицы и яички всмятку. Гуляя с сестрой моей по саду, полковница отди-

рала сухонькими ноготками со стволов застывшую древесную смолу и уверяла, что это самое лучшее лакомство.

Посевы расширялись, увеличивалось число лошадей и скота. Пробовали завести мериносовых овец, но дело не наладилось. Зато свиней было много. Они свободно ходили по двору, перерыли все окрестности и окончательно погубили сад. Хозяйство велось внимательно, но по старинке. Определить, какая отрасль давала выгоду, какая убыток, можно было лишь на глаз. По той же причине трудно было определить и размеры состояния. Все средства были всегда в земле, в колосе, в зерне, зерно лежало в закромах или передвигалось к портам. Иногда за чаем или за ужином отец вдруг вспоминал: «А ну-ка, запишите, я получил от комиссионера 1300 рублей: полковнице выслал 660, 400 отдал Дембовскому, та запишите, что Феодосии Антоновне дал 100 рублей, когда был весной в Елизаветграде». Так, примерно, велась бухгалтерия. Тем не менее отец медленно, но упорно поднимался вверх.

Жили мы в том самом земляном домике, который был построен старым полковником. Крыша была соломенной, с бесчисленными воробьиными гнездами в застрехе. Стены снаружи давали глубокие трещины, и в этих трещинах заводились ужи. Их иногда принимали за гадюк, лили в щели горячую воду из самовара, но безуспешно. В большие дожди низкие потолки протекали, особенно в сенях: на земляной пол ставили чашки и тазы. Комнаты были маленькие, окна подслеповатые, в двух спальнях и детской полы были глиняные и плодили блох. В столовой настлали дощатый пол и раз в неделю натирали его желтым песком. А в главной комнате, шагов восемь длиною, которая торжественно называлась залом, пол был крашеный. Там помещали полковницу. В палисаднике вокруг дома росли кусты желтой акации, белых и красных роз, летом вились крученые паньчи. Двор не был огражден вовсе. Большое глиняное здание под черепицей, которое строил уже отец, заключало в себе: мастерскую, хозяйскую кухню и людскую. Затем шел «малый» деревянный амбар, за ним «большой» деревянный амбар, потом «новый» амбар – все под камышом. Чтоб вода не подтекала и зерно не прело, амбары возвышались на камнях. В жару и холод под ними укрывались собаки, свиньи и домашняя птица. Куры находили там укромные места для носки яиц. Я не раз извлекал оттуда куриные яйца, ползая меж камней на животе: взрослому пролезть было невозможно. На крыше большого амбара каждый год заводятся аисты. Подняв к небу свои красные клювы, они глотают ужей и лягушек – это страшно! Тело ужа извивается из клюва, и кажется, будто змей ест аиста изнутри.

В амбаре, поделенном на закрома, свежая пахучая пшеница, шероховато-колючий ячмень, плоское, скользкое, почти жидкотекущее льняное семя, черный с синевой бисер рапса, тонкий легкий овес. Когда дети играют в прятки, то разрешается, не всегда, а при почетных гостях, прятаться даже в амбарах. Перебравшись через загородку закрома, я карабкаюсь на пшеничный холм и переваливаюсь на другую его сторону. Руки по локти и ноги по колени уходят в расплывающуюся массу; в башмаки, нередко рваные, и за пазуху набивается зерно. Дверь амбара прикрыта, и на ней для виду кем-нибудь навешивается замок, только не запертый, – этого требовали правила игры. Я лежу в прохладе амбара, погруженный в зерно, вдыхаю растительную пыль и слышу, как Сеня В., или Сеня Ж., или Сеня С., или сестра Лиза, или еще кто бродят по двору, находят спрятавшихся, но никак не могут открыть меня, утопающего в свежей арнаутке.

Конюшни, коровник, свиной хлев и птичник помещались по другую сторону дома. Все это было кое-как слеplено из глины, лозы и соломы. В сотне шагов от дома торчал высоким журавлем к небу колодец. За ним – пруд, омывавший мужицкие огороды. «Греблю» (плотину) каждую весну сносило полой водой, и ее снова укрепляли: соломой, землей, навозом. На пригорке у пруда стояла мельница. Дощатый барак укрывал десятисилльную паровую машину и два постава. Здесь в ранние годы моего детства мать проводила большую часть своего трудового времени. Мельница работала не только для экономии, но и на всю округу. Крестьяне привозили зерно за 10–15 верст и платили за помол десятой мерой. В горячее время, накануне

молотьбы, мельница работала 24 часа в сутки, и, когда я научился считать и писать, мне приходилось иногда взвешивать крестьянский хлеб и высчитывать, сколько причитается помолу. Когда убирали урожай, мельница закрывалась, паровик уходил на молотьбу. Впрочем, позже установлен был неподвижный двигатель, новое здание мельницы было построено из камня и черепицы, да и хозяйская землянка была заменена большим кирпичным домом под железом. Но все это произошло, когда мне подходил уже 17-й год. Во время последних своих каникул я расчислял для будущего дома пробеги между окнами и размеры дверей, но никак не мог свести концы с концами. В следующий свой приезд в деревню я видел каменный фундамент. В самом доме мне жить уже не довелось. Теперь в нем помещается советская школа...

В мельнице мужики дожидались иной раз неделями. Кто жил поближе, тот ставил мешки в очередь, а сам уезжал домой. Дальние жили на возах, а в дождь спали в самой мельнице на мешках.

У одного из помольщиков пропала уздечка. Кто-то видел, как приезжий мальчишка вертелся около чужой лошади. Кинулись обыскивать отцовский воз и в сене нашли уздечку. Отец мальчика, бородатый, угрюмый мужик, крестился на восток и клялся, что это проклятый хлопец, арестантюга, сам надумал и что он ему за это кишки выпустит. Но отцу не верили. Мужик поймал сына за шиворот, опрокинул на землю и стал стегать краденой уздечкой. Из-за спины взрослых я глядел на эту сцену. Хлопец кричал и божился, что больше не будет. Кругом угрюмо стояли дядьки, равнодушные к воплям подростка, курили сигарки и бормотали в бороды, что порет мужик с фальшью, только для вида и что надо бы отстегать заодно и отца.

За сараями и хлевами шли клуны, т. е. огромные, на десятки сажен крыши, одна камышовая, другая соломенная, поставленные прямо на землю, без стен. В клунах ссыпались холмы зерна; в дождливое или ветреное время там работали веялкой или решетом. Дальше, за клунами, находился ток, где молотили хлеб. Через балку стоял загон для скота, сложенный целиком из сухого навоза.

С полковничьей землянкой и со старым диваном в столовой связана вся моя детская жизнь. На этом диване, обложенном фанерой под красное дерево, я сидел за чаем, за обедом, за ужином, играл с сестрой в куклы, а позже и читал. В двух местах обшивка прорвана. Дыра поменьше – с того конца, где стоит кресло Ивана Васильевича, и дыра побольше – там, где сижу я, подле отца. «Пора перетянуть диван новым сукном», – говорит Иван Васильевич. «Давно пора, – отвечает мать. – Мы диван не перетягивали с того года, когда царя убили». – «Та знаете, – оправдывается отец, – приедешь в этот проклятый город, туда-сюда бегаешь, извозчик кусается, та все думаешь, как поскорее вырваться назад в экономию, вот и забудешь про все покупки».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.